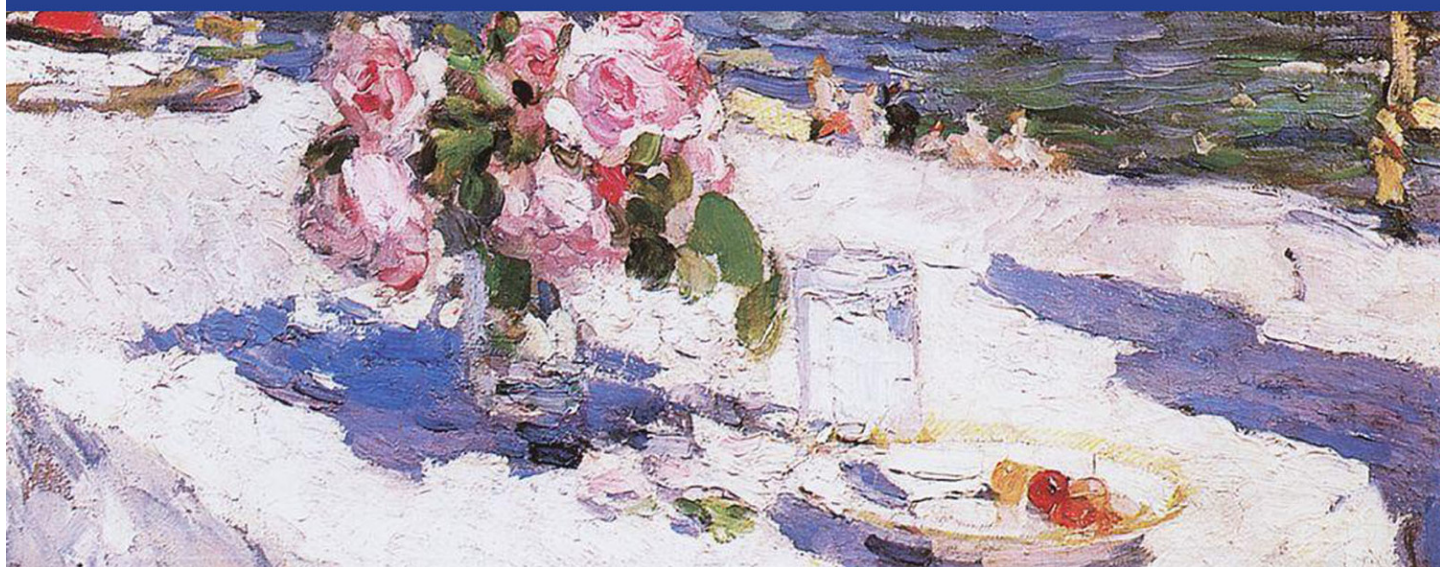




И. Грекова

Вдовий пароход

ФТМ



Ирина Грекова
Вдовий пароход

«ФТМ»

1981

Грекова И.

Вдовый пароход / И. Грекова — «ФТМ», 1981

"Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия..."

© Грекова И., 1981

© ФТМ, 1981

И. Грекова

Вдовый пароход

Мой муж был убит на фронте в самом начале войны. Мы оставались в Москве. «Мы» – это я, моя мать-старушка почти без ног и моя дочь Наташа четырнадцати лет. Какое-то оцепенение помешало мне действовать. Эвакуироваться вовремя мы не успели, а потом, в суматохе, было уже поздно. Впрочем, мне предложили одно место в машине, отъезжавшей на восток со двора незнакомого учреждения; все спешили, по воздуху летали документы из какого-то развешанного архива. Одно место? Разумеется, я отказалась. Потом заколебалась: «Отправить Наташу?» – и сразу же: «Нет, не отдам». Машина уехала. Обо всем этом я рассказала дома, сомневаясь в правильности своего решения. «Все верно, сказала мама, – погибать, так вместе». Она вообще бодрилась, была суха, подобранна, много вязала, шевеля спицами где-то у самого уха и летящими губами считая петли. Наташа, та вообще ничего не понимала, пела по утрам, завязывая банты перед зеркалом; меня ужасало, как легко она пережила смерть отца. Теперь я понимаю, что для нее вообще жизнь была нереальной, а тогда мне подчас хотелось ее ударить.

Одним словом, мы остались на месте, так было легче ничего не предпринимать. Жили как бы по-старому в нашем старом доме, в старой квартире с высокими закругленными окнами, выходившими во двор, где мирно висело разноцветное белье и какая-то нежная провинциальность оплетала плющом балконы. Работы у меня не было. Я продавала на барахолке кое-какие вещи и тут же покупала или выменивала кое-какую еду. Осень шествовала вперед, уже по утрам руки покусывало морозом, плющ побагровел и усох. Жизнь формировалась, в городе восстанавливался порядок, пошатнувшийся было в дни поспешной эвакуации. Выдавали карточки, заботились о затемнении, мальчишки искали шпионов, сигналивших врагу с чердаков вспышками света. Я сама однажды видела такую вспышку, мигавшую ярко и загадочно. В магазинах иногда появлялись ненормированные продукты, странные, например крабы и шампанское. За ними выстраивались очереди. Люди посмеивались: за чем стоим? Одну такую очередь я выстояла, после этого мы всю ночь ели крабов и пили шампанское, а Наташа тренькала на гитаре. В этом ночном празднестве было что-то глубоко нечестивое. Время от времени налетали немецкие самолеты, их я не боялась, я вообще ничего не боялась, была как-то уверена, что худшее в нашей семье уже произошло и ничего больше произойти не может. К тому же налеты случались сравнительно редко и их последствия на огромном лице города были почти незаметны. Развалины убирались, и на их месте быстро разбивался сквер. В городе властвовали аэростаты заграждения – гигантские колбасы, днем ведомые под уздцы девушками в военной форме, а вечером поднимающиеся сторожами в чуткое небо. В их пузатом спокойствии было что-то надежное: спите, люди. Голос из репродуктора, привычно скандировавший знакомые слова: «Граждане, воздушная тревога», уже не пугал, мы под него не спеша одевались. Бомбоубежище было не в нашем доме, а в соседнем, через двор, мне все казалось, что мы занимаем в нем чье-то чужое место. А мама беспомощна, и таскать ее туда было мученьем. Да что долго объяснять! Так или иначе, в убежище мы ходить перестали.

Однажды поздно вечером после отбоя вновь объявили тревогу. Наташа подняла голову с подушки и сказала с досадой: «Мама, опять тревога? Ух как они мне надоели!» – а я ответила: «Ничего-ничего, спи, доченька». Это были последние слова, которые мы друг другу сказали, потому что как раз в эту ночь наш дом был разрушен бомбой. Мама и Наташа погибли, а я – нет. Как говорится, чудом уцелела. Чудом ли? Скорее это было одно из тех обратных чудес, чудес зла, автор которых – сам дьявол. У меня был перелом позвоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в сознании. Помню тяжесть навалившегося кирпича, какую-то дверь, косо и страшно вставшую надо мной, мысль: «Мама? Наташа?» – мысль: «Конец». Когда меня вытаскивали, я кричала: «Осторожнее!» – потому что берегла руки.

Потом был промежуток полного беспамятства. Первым ощущением, которое я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не боль. Мне представлялось, что это все еще был кирпич, который почему-то не разбирали. Только много позже я поняла, что это был не кирпич, а гипс. Он окружал меня со всех сторон, я была в нем замурована, заключена. Кроме тяжести, я ничего не чувствовала. Я была слепа. Меня окружала темнота, не безлично серая, а огненно-черная, что могло означать одно: я слепа. В черноте иногда вспыхивали искры, звездообразные взрывы света. Они были подвижны и катились всегда в одну сторону. В какую-то минуту я раскрыла губы и сказала: «Мама? Наташа?» – но ничего не услышала. Я была глуха.

Так, в глухой темноте шло для меня время без времени, отмечаемое только сверканьем катящихся искр; они появлялись через регулярные промежутки, измерить которые я не могла, знала только, что они регулярны и образуют четкий рисунчатый ритм. Искры сами по себе были очень красивы, они чем-то напоминали живых существ, может быть морских звезд, по неумолимости, с какой они катились всегда в одну сторону, была не от живого мира.

Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух. Через некоторое неопределенное, но очень долгое время я увидела свет. Он брезжил, колеблясь и как бы сомневаясь, в водянисто-серой комнате, похожей на аквариум, потому что в воздухе-воде над моим лицом висела большая белая рыба. Я открыла рот, чтобы сказать все то же: «Мама? Наташа?» – и опять ничего не услышала. Белая рыба встрепелулась, махнула хвостом и на большой скорости промчалась мимо. Вместо нее появилась другая, но оказалось, что это не рыба, а белая косынка медицинской сестры. Под косынкой на бледно-желтоватом, слегка отечном лице светились внимательным удивлением большие глаза. «Значит, я в больнице и не слепа», – подумала я и посмотрела вдоль себя в сторону ног. На койке лежало нечто белое, очень большое, что по занимаемому месту должно было быть мной, но не было, а ощущалось, как посторонняя тупая тяжесть. Мне вливали в рот что-то теплое, не имевшее вкуса.

Сознание возвращалось ко мне постепенно, но не равномерно, а толчками. Несколько позже света стал возникать звук, тоже искрами, взрывами, вначале болезненными. Однажды я открыла глаза и увидела, что возле меня сидит моя подруга и плачет. Плач был громкий и напоминал икание. «Мама? Наташа?» – спросила я и услышала собственный голос, резкий, как крик. Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли. Я была вся в гипсе, с ног до головы, и не могла ни биться, ни двигать руками, ни себя уничтожить. Опять мне что-то вливали в рот. Вернулись беспамятство, чернота. Кажется, я заклинала ее стать вечной. Сознание приходило, мигало и пропадало опять. Душевная боль не была постоянной, она возникала взрывами и тогда была нестерпима – казалось, что она разорвет изнутри гипс.

После того я еще год провела в больнице, и врачи боролись за мою ненужную мне жизнь. За этот год воля к смерти, очень сильная вначале, успела во мне погаснуть. Ее заменила ненависть к гипсу, желание уничтожить уже не себя, а гипс. Потом стал появляться, вспыхивая и опять пропадая, интерес к законному миру. Он был доступен вначале лишь боковому зрению, но чувствовалось, что он велик и прекрасен. Потом, когда мне освободили шейные позвонки и я уже могла поворачивать голову, законный мир открылся во всю ширину и оказался в самом деле велик и прекрасен. Там шевелились ветки, падал дождь, гуляли голуби. Все это было свежо и ярко, много ярче, чем и обычной жизни. Я, например, никогда не видела таких синих голубей. В дальнейшем эта яркость слегка померкла, но в какой-то мере сохранилась и до сих пор. Иногда меня поражает, скажем, яркость дождя.

Итак, я уже могла поворачивать голову. Теперь я уже хотела поправиться, если это возможно. Оказалось, что это возможно. В один прекрасный, насквозь солнечный день сплошной гипс заменили на облегченный, ликующе-легкий, почти невесомый. В этот день я бралась с мухами, невесомо летавшими по солнечной палате. Прошло еще время, и вот я уже могла сидеть на койке, владеть руками, есть. Еда, скудная в те времена, занимала в жизни людей большое место, что трудно понять тем, кто не голодал. Принятие пищи превращалось почти

в обряд. Я удивлялась, что с трепетом жду раздачи обеда, но трепет был. Шаркали шаги, гремела посуда, появлялась санитарка в разношенных тапочках, с янтарными голыми пятками, начиналась раздача. Я ела. Потом я спала – долго, запоем, как спят грудные.

Когда меня выписывали, оказалось, что подвижность рук частично утеряна, а это означало еще один конец – по профессии я пианистка. Впрочем, этот конец мало значил рядом с другими. Пожалуй, я не была по-настоящему талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца упражняться, днем – на рояле, ночью – впустую, барабани пальцами по колену, и яростное недовольство собой, а этого мало. Мне дали третью группу инвалидности и выпустили в жизнь. Помню, как я ее встретила, выйдя из ворот больницы, как стояла, бестолково глотая воздух, убитая солнечным светом, а моя подруга держала меня под локоть.

Первые недели я прожила у нее. Но это не могло продолжаться вечно. Я стала хлопотать о жилплощади. «Зачем тебе это нужно? – говорила подруга. – Оставайся, живи у меня». Нет, этого я не могла. Стыдно сказать, она меня раздражала. Она впала в какой-то экстаз самопожертвования, была говорлива, вздорна, много плакала и словно требовала того же и от меня. Но я не могла плакать – то, что во мне было, не сводилось к слезам... А ее деспотические заботы! От них можно было с ума сойти. Как, например, она кричала на меня в подлинном гневе за то, что я вышла на улицу без шарфа. Как будто он что-нибудь значил, шарф. Как будто сама я что-нибудь значила. Как будто что-нибудь значили мы все, бесполезные перед лицом того огромного, что происходило в мире... Радио она не слушала, газет не читала, вся погрузилась в испуганную суетню. А когда мы обедали, она внимательно делила еду на неравные доли, всегда стараясь подсунуть мне ту, что побольше, а я возражала, и начиналось смехотворное перебрасывание тарелками... Нет, мне надо было иметь свой угол, свои четыре стены, чтобы жить.

В райсовете довольно скоро мне выделили комнату, освободившуюся то ли за выездом, то ли за смертью жильцов. Комната оказалась небольшая, еще уменьшенная своей стройной продолговатостью, с высоким, смугло задымленным потолком. Окно выходило на задний двор, где стояли рядами голубые мусорные баки, а на их фоне шествовал, осеняя себя хвостом как флагом, ярко-оранжевый кот. Все это увиделось мне прекрасным, особенно закатный солнечный свет на огненной шерсти кота. От прежних жильцов в комнате оставалась кровать, брошенная, очевидно, за непригодностью: сетка прохудилась и кое-где была грубо стянута веревками. Я присела на кровать, сетка подалась, заскрипела. Железная полоса под коленями была восхитительно холодна. Да, мне все это понравилось, хорошо бы и на будущее сохранить эту пустоту, простоту и яркость. Я не хотела обзаводиться вещами. Говорят, корабли, обрастая ракушками, теряют ход. Я не хотела терять ход, хотя идти мне было некуда. И все же какой-то легкий ход мерещился мне как благо. Кстати, нелюбовь к вещам осталась у меня навсегда.

Моя подруга дала мне самое необходимое: стол, стул, матрас, одеяло, кое-что из посуды, из носильных вещей. Она хотела бы дать больше, всю меня осыпать подарками, но я не брала. Помню нелепый спор из-за приземистого предмета, который она называла козеткой, – мне так же мало хотелось впустить его в свою комнату, как паршивого пса. Подруга настаивала, я решительно сказала: «Лучше умру», – и опять она плакала, а я нет. Теперь я жалею, что не взяла.

Нам предстояла разлука: вскоре моя подруга должна была уехать к замужней дочери куда-то в Сибирь. Она страшилась отъезда и, говоря о нем, снова и много плакала, а я была черства. Мне бы понять ее тревогу, ее усталость, ее предчувствия... Слезы текли по ее маленьким, похудевшим щекам. Записывая для меня свой адрес, она надела очки, и по ее постаревшему лицу я поняла, что обе мы уже немолоды. На прощанье она сунула мне пачечку денег и сказала: «Отдашь, когда сможешь». Этих денег я ей так и не вернула, потому что вскоре она умерла. Я не знаю, где ее могила, растут ли на ней цветы и какие. Я пыталась выслать свой долг

ее дочери, но перевод вернулся с пометкой: «Адресат выбыл». Этот невозвращенный долг до сих пор меня мучит рядом с другими долгами и винами, которым нет числа.

Моя подруга уехала, и я осталась совсем одна. Ни родных (все умерли), ни товарищей по работе (все разъехались), ни даже соседей по дому (дом разрушен, и на его месте разбит сквер). Прежде подпирали заботы: свои заботы о ком-то и чьи-то заботы о тебе. Слово «беззаботный» обычно сопровождает представление о счастье. А на самом деле до чего неприятна, неприкаянна жизнь без забот! Прошло много времени, пока я к ней приспособилась. Первое время я даже не могла готовить еду: мне казалось диким кормить самое себя.

Деньги, которые мне оставила моя подруга, подходили к концу. Пора было поступать на работу. О прежней профессии, конечно, и думать было нечего – с этим я примирилась безропотно, кто знает, может быть, с тайной радостью, что больше не надо изводиться отсутствием таланта... Мне было все равно, где работать, но что я могла, что умела? Для физической работы я не годилась. Для умственной? Тоже скорей всего нет...

– Какое у вас образование? – спрашивали меня.

– Консерватория... – отвечала я, стыдясь. – По классу рояля.

– Играть можете?

– Нет.

– Что же с вами делать, товарищ? Подумаем. Заходите еще.

Они думали, а я заходила еще и еще, но работы не было. Я была как просительница, кланяющаяся на бедность. После отказа (а это всегда был отказ, хотя и отложенный) я дрожащими руками собирала свои вещи: мешочек с хлебом или картошкой, суковатую палку-клюку, сумочку со справками, заменявшими мне документы. Нередко справки падали на пол, я их собирала, страдая от собственного калечества и жалости окружающих, иногда выражавшейся в том, что они начинали сидя суетиться и двигать руками. Потом я заматывалась шалью и уходила не оборачиваясь, боясь, как бы мне не предложили денег за нищий взгляд.

Так прошло несколько месяцев. Я начала уже терять надежду, как вдруг мне предложили работу! Да, настоящую работу, музыкальным воспитателем в Дом ребенка.

– А что такое Дом ребенка?

Мне объяснили: это вроде детского дома, только для самых маленьких, от рождения до трех лет. Говоря популярно, вроде яслей.

«Популярно говорил» мой работодатель, инспектор по художественному воспитанию, огромный детина, рыжий до ужаса, с рыжими волосами в ноздрях. У него было дел выше головы, на столе сотни бумажек и разные дыроколы. Говоря со мной, он ритмично постукивал карандашом.

– Ну как? Все ясно?

Я колебалась. Предложение испугало меня, всколыхнуло всю бездну моей неуверенности в себе. Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия... А живые существа: кошки, голуби, дети со своей занятостью и тайной! Не надо это понимать так, будто я забыла свое горе. Нет, горе было во мне, горе было свято, но жизнь привлекала меня безмерно... Карандаш стукнул весьма решительно.

– Жду ответа. Устраивает это вас, товарищ Флерова?

Стук означал: не задерживай. Даже он, этот рыжий, был мне интересен.

– Устраивает, но... боюсь, не справлюсь.

– Пустяки! «Чижик-пыжик, где ты был?» – пропел он фистулой. – Ну как? Сыграете «Чижика»?

Я поглядела на руки, пошевелила пальцами. Пальцы двигались.

– Пожалуй, сыграю.

– Тогда замetano. Даем направление в Дом ребенка. А вы не тушуйтесь. Повеселее, повеселее, мамаша!

Кажется, впервые в жизни меня называли мамашей, а было мне тогда неполных сорок лет. Потом называли по-всякому – и мамашей, и бабушкой, и бабусей. Даже бабой-ягой. Ходила я с палочкой вроде клюки, спина согнута, мальчишки бегали за мной и кричали:

– Баба-яга, костяная нога!

Ко всему привыкаешь.

Дом ребенка, куда мне дали направление, помещался в окраинном переулке, в одном из тех, где Москва перестает быть Москвой, где вылезает из-под ее облика глубокая, глухая провинция. Там стоят, развесив ветви, старые, дуплистые деревья, под ними ютятся покосившиеся пятнистые домики, серо-лиловые, как всякая обветренная, мытая дождями древесина. На окнах домиков данью времени кое-где сохранились крестообразные бумажные наклейки – наивное средство, будто бы сохранявшее стекла во время налетов, – ими очень увлекались в начале войны. А сейчас было начало весны – слабое, солнечное начало; пахло землей, мокрыми ветками, будущим. Я шла переулком, опираясь на свою клюку, и меня радовало, как гибко и свободно идет от колонки женщина с ведрами, как плавно похаживает на ее плече коромысло, роняя светлые полновесные капли. На деревьях целым кагалом картаво орали какие-то птицы, должно быть грачи. Нищая, весенняя прелесть домиков, бумажных крестов, грачиных гнезд трогала надеждой, обещанием жить. Радиорупор на углу передавал что-то бодрое о положении на фронтах; под ним стоял, задрав голову, старик в обтрепанных валенках, и его борода сквозила на солнце.

Дом ребенка, в конце переулка, за высоким забором, тоже весь насторожился в ожидании жизни. В саду меж подтаявших, рябо почерневших сугробов парами ходили по дорожкам под присмотром воспитательницы очень маленькие, очень тихие дети. Они были одинаково скромно и бедно одеты в казенные ватнички. Дом был каменный, двухэтажный, в кольце террас, сплошь затканых плющом, голым, усохшим за зиму, но жадно желающим жить. Когда я подходила к дому, меня поразил тихий хор маленьких плачущих голосов, доносившийся из одного крыла сквозь раскрытые форточки. Женщина в белом халате с бадейкой в руке вышла из дома. Я спросила: «Что это?» – разумея тихий хор.

– Грудные плачут, – ответила она. – Ну, это так говорится – грудные, а где ихние груди? Матерей нет – кто погиб, кто бросил. Наши все искусственники, на смесях растут. Рахит замутил, но ничего, боремся. А вам что надо, мамаша?

У нее было нежное, полное, желтоглазое лицо, чуть оттененное пушком у выпуклых губ.

– Мне заведующую, – сказала я, – меня, знаете, сюда направили на работу.

Женщина засмеялась и махнула бадейкой, указывая, куда мне идти. Это могло означать: тоже, работников посылают... «Нет, не возьмут, – подумала я, – кому я тут нужна со своим „Чижилом“?»

В сенях стояли батарейкой бутылочки с сероватым молоком, аккуратно заткнутые ватными тампонами. Дверь в кабинет заведующей была открыта. Я вошла. Заведующая, очень немолодая, со складками заботы на желтом лице, считала на счетах. Я положила ей на стол свое направление.

– Сейчас, – сказала она, продолжая считать. – Не десять рук. Бухгалтер больна. А я здорова?

Мне было трудно стоять, я села. Щелк-щелк – говорили счеты. В окно светило солнце. Тонкая разрезная тень от плюща осторожно двигалась по столу, по желтым рукам заведующей. Хора грудных отсюда почти не было слышно, он звучал еле-еле, слабой музыкой жалобы, нотой печали. «Нет, не возьмут, – снова подумала я, – слишком здесь хорошо».

Заведующая кончила считать, отодвинула счеты и взяла мое направление.

– Арифметику знаете?

– Плохо, – ответила я, спешно припоминая таблицу умножения.

– Вот как и я. Дважды два еще знаю, а более высшего – нет. Мне грамотные сотрудники ох как нужны. Рабочие руки требуются. А кого присылают? Только что не в гробу.

Я встала, собираясь уйти. Мешочек, сумочка...

– Постой, не лотошись! – прикрикнула она. – Я не со зла, это у меня плач души. Надо же мне поделиться! Не делишься, не делишься – и лопнешь.

Я молчала.

– В мое положение тоже надо войти. Няnek нет. Нюрка на завод возмечтала, не сидится ей, штопор в заднице. Слесарей нет, ведра все прохудились. Молока не допросишься, суют суфле. А от суфле какой рост? Я им говорю: «Дети, говорю, расти им надо». А они: «У всех трудности». Подавись они своими трудностями, тьфу! Все одна, кругом одна, помощников нет. С ума сойду, прямо в психическую, под душ Шарко.

Я молчала. Все правда, мне остается уйти.

– Неходишь в положение. Ну ладно, возьму. Ставка есть. Не козу же брать на эту ставку.

Так меня приняли в Дом ребенка на ставку музыкального воспитателя.

Странная была эта должность, эта ставка. И почему она существовала? Загадка. Казалось бы, рассуждая по разуму – война, всего не хватает, мало молока, мало хлеба, а тут – музыка. И вот поди ж ты, тоненький культурный ручеек, кем-то и когда-то задуманный, струился себе и струился, помогал жить... В Доме ребенка имелся даже рояль – старенький, глубоко расстроенный, но со следами чистого, благородного тона. Я взялась за работу. Первым делом надо было позвать настройщика. По этому поводу мне пришлось выдержать баталию с нашей заведующей Евлампией Захаровной. По ее мнению, звук был очень даже хорош. Но я подавила ее авторитетом, сославшись на свое специальное образование (вообще-то я редко о нем вспоминала)... Отыскался и настройщик, замшелый старик, очень словоохотливый, который все время спрашивал: «Вы меня узнаете?» – разумея под этим: вы меня понимаете? «Узнать» его было довольно трудно по запутанности его мыслей, но одно было ясно: за работу он требовал бутылку. Опять бой с Евлампией Захаровной, которая вместо бутылки давала чекушку, то есть четверть литра. Старик был непреклонен, и через неделю заведующая сдалась. Откуда она достала бутылку – неизвестно. Эта женщина была хозяйственным гением, могла что угодно добыть, обменять, выклянчить. «Если б знать арифметику, я бы далеко пошла!» Одним словом, рояль был настроен. Я села за него со страхом. Руки, руки. Но они кое-как слушались. Я сыграла несколько пьесок из «Детского альбома» Чайковского. Когда-то, очень давно, я их разучивала, сидя у рояля с бантом в косе, мечтая о воле, о дворе, о «казаках-разбойниках», а меня заставляли играть, заставляли... Тогда я ненавидела музыку, словно предчувствовала, что ничего из меня не выйдет... «Болезнь куклы», «Похороны куклы»...

– Ничего, – сказала заведующая, – бывает хуже. Все-таки инвалид.

– А «Катюшу» можете? – спросила Нюра, та самая полнолицая техничка, которая тогда, в первый день, махнула на меня бадейкой. – Я «Катюшу» сильно обожаю. Услышу – и плакать.

Я кое-как по слуху подобрала «Катюшу». Нюра заплакала.

– Все-таки что значит образование, – сказала она, кончив плакать. – Рожу сына – обязательно в консерваторию отдам.

Так началась моя вторая музыкальная жизнь. В каком-то смысле она была удачнее, чем первая. Понемногу, день ото дня я становилась бойчее, начинала дерзать. Я не только играла – я пела! Детские песенки я извлекала все отсюда же, из глубин своего детства с бантом в косе. Вот эту песенку пела мне няня, эту – мама...

Никогда я не думала, что маленьким детям так нужна музыка! Они впитывали ее, как сухая земля пьет воду. Даже самые маленькие, грудные. Когда был музыкальный час для груд-

ников, их высокие белые крашенные железные кровати, плоско застеленные, без подушек, вкатывали в зал, где был рояль. Грудные плакали, жалуясь на судьбу. Но как только я начинала играть, они замолкали и слушали. Их молочно-синие глаза глядели неопределенно-загадочно, наблюдая что-то недоступное людям, находящееся, может быть, даже у них за затылком. А некоторые поднимали крохотные ручки с розовыми лучиками пальцев и играли ими как будто в такт. Те, что постарше, ползунки, понимали еще больше. Они стояли в своих манежиках на слабых, гнущихся, еще не ходящих ножках и, цепляясь за перильца, так и тянулись к песне. Лучше всего было, когда они все вместе начинали петь, робко и нестройно гудя. Это ползунковое пение всегда трогало меня – не скажу до слез, слез у меня не было, но до раздирающей внутренней дрожи. А старшие, ходячие – года по полтора-два, – как они жадно толпились вокруг рояля! Дети были бледненькие, рахитичные, ножки колесиком, по сравнению с домашними малоразвитые. Многие из них не умели говорить, объяснялись знаками и птичьим щебетом... Но тут они оживлялись, повизгивали, каждый норовил стать поближе, уцепиться за мое платье. А какой-нибудь один – самый смелый, самый взрослый – дотягивался до рояля и трогал клавишу пальцем. Возникал звук. «Музыка», – говорила я, и они лепетали за мной трудное слово. Для них музыка была чудом, да она и была чудом. Рояль кряхтел, мои ограниченно подвижные руки двигались непротивно, и все же это была музыка, как будто играла не я, а она сама, великодушно прощая мою неумелость...

В Доме ребенка понемногу ко мне привыкли. Иногда я помогала Евлампии Захаровне с арифметикой. Хороши были мы обе! А иногда, оставаясь после работы, я аккомпанировала няням, поварихам, а они пели. Положительно хороший голос был у Нюры, не голос, а колокол. В хоре он не просто выделялся, а царил, создавая другим богатырский фон. «Вам бы учиться, Нюра!» Она только рукой махала. Она мечтала пойти на фронт, в крайнем случае – на оборонный завод, но оставалась, жалея детей и заведующую, которую терпеть не могла, но все же любила. У этой Нюры был вообще парадоксальный характер. Страстная законность и презрение к закону. Она не была замужем, но решение родить сына было в ней твердо: «Познакомлюсь и рожу».

В общем, своей работой я была довольна. Зарплата моя была маленькая, меньше, чем у технички, но мне хватало. По должности мне полагалось питание, и я возвращалась домой с баночкой супа.

Домой...

Работа работой, а у человека должен быть дом, куда он возвращается, снимает рабочее платье, надевает халат, живет.

Дом, куда меня поселили, – большой и мрачный, шестиэтажный, построенный где-то в начале века с потугами на стиль модерн, весь извилистый, с лилиями по фасаду. Теперь он был запущен и одичал, облупился; лифт не ходил, штукатурка отваливалась, во дворе валялись обломки лилий. В квартире, кроме моей, было еще четыре комнаты: в трех жили три женщины, по одной на комнату, а четвертая, запертая, пока пустовала – ее хозяйка, Громова Федор и Анфиса, были на фронте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.